

Я нашел прессора Разумихина таким же здоровым, тихим и спокойным, каким видел его в прошлом году, хотя к 60 годам его прибавился еще один. В его кабинете, стены которого сплошь заставлены книжными полками, стало еще теснее, чем прежде: низкие вертящиеся этажерки совсем загораживают проход от дверей к письменному столу и к старому потрепанному дивану.

– Книги растут, – сказал он мне, приветливо кивая белой как лунь головой, – растут точно трава весной. Армия то писателей гораздо помногочисленней всех наших солдатских армий. Писатели если не бессмертны, то долголетни... Мы вот умрем и очистим место молодежи. А как можно отделаться от старого автора, даже если он глупый, когда его книга напечатана на хорошей бумаге, с затейливыми заглавными буквами, заставками и гравюрами. Как можно не любить его, когда он переплетен в хороший старый пергамент, гладкий этакой и желтый от времени, точно добрая слоновая кость. Как можно презирать его, когда на его книге наклеен «ex libris» какогонибудь хорошего знатока, который ласкал книгу, читал ее, писал на ней свои мысли и исправления... Нет, и глупая книга приобретает что-то почтенное с веками существования, – медленно проговорил профессор, улыбаясь своими добрыми, светлыми глазами. Как можно выгнать из шкафа, лишить пристанища даже самую глупую книгу, когда ей триста лет от роду? Она, поди, больше нас с вами видела, сколько дум может быть около нее проходило... Вот отчего и набралось их у меня такая уйма.

– А вы все такой же мистик, Павел Михайлович, как прежде? Все утверждаете, что читатели намагничивают страницы книги?

– Не утверждаю, а чувствую. Когда могу, всегда приобретаю книги из библиотек известных ученых. Такие книги и читать легче, и плодотворнее. Как-то содержание само в вас вливается. Да и все нужное и интересное легче в них найти... А насчет мистики, то как быть иначе? Живу на кладбище, полном мертвецов, – сказал он, показывая на книжные шкафы, а все церковные сторожа, могильщики и гробокопатели всегда мистики. Но и мертвецы бывают презабавные. Вот хоть скажем эта книжечка, – и он показал мне тоненький томик, переплетенный в белый пергамент. – Ведь о чем говорил и когда... Подумайте... Впору бы нам...

– Что это, Павел Михайлович?

– Это, вообразите себе, сочинение греческого политического философа или по нынешнему – публициста четвертого века, нашего летоисчисления, современника Ливания, Фемистия, Юлиана Отступника... И писал он περὶ παιδοχρατίας, о правлении детей...

– Как о правлении детей, – спросил я?

– Да, так, он говорит, что кроме обычных форм правления, о которых трактует Аристотель в своей «Политике», кроме земской монархии, аристократии и политики или республики, которые он, следуя Аристотелю, считает правильными формами, и кроме трех форм государственного вырождения – тирании, олигархии и демократии

в ее дурном, охлократическом смысле – есть еще одна дурная форма, детоправление или пэдократия, когда государством управляют малолетние...

– Да не может быть, – сказал я. Дайте посмотреть эту чудную книжку...

Профессор дал мне томик, и я прочитал заглавие: «Σεργίου Βυρσοδεψίδου Περί Παίδοχρατίας. Apud Seb. Gryphium, Lugduni. 1533». На заглавной странице изображен был грифон, поднимающий кусок скалы, к которой цепью прикован шар с двумя крылами. Слева от грифона написано: «Virtute duce» (предводимый добродетелью), а с правой: «Comite fortuna» (сопутствуемый успехом). На предпоследнем листе я прочитал: «Напечатал в Лионе Себаст. Грифиус в лето 1533»; а на последней странице, изображен был гордый грифон, стоящий на дугу – намек на имя издателя книги Грифа, немецкого печатника, который прославился своими прекрасными работами, выходявшими из основанной им в Лионе печатни.

В обращении к читателю я прочел несколько скудных известий об авторе, учителе философии в Гангре, городе Пафлагонии, который был призван в Царьград читать философию в тамошнем университете, затем был сенатором, посланником и наконец был награжден от императора Феодосия чином градоначальника с постановкою в честь его двух медных статуй, что равняется, примерно, нашему чину тайного советника. Все остальные его сочинения – трактаты, опыты, этюды, характеристики (ἡσολαΐαί) – до нас не дошли. Говоря о его языке Грифий приходит в восторг: «Если говорить ясно, полно, учено, красиво, – восклицает он, – если кроме того не иметь в речи ничего изнеженного и неудачного – суть качества совершенного ораторского искусства, то я утверждаю, что мой Бирсодепсид вращается в самом цвету лучших ораторов». (Si perspicue, si eradite, si ornate verba facere, si praeterea nihil habere mollitiae nec ineptiarum – perfecti generia oratoril est, – Byrsodepsidem meum aio in optimorum flore versari). «Если ты захочешь когда-нибудь быть сопричастным к ученым, тебе следует читать его, прощай» – так заканчивает издатель свое обращение к читателю. Но я не поверил Грифию, ибо средневековые издатели всегда преувеличивали достоинства издаваемых ими авторов.

– Странно, – сказал я профессору, прочитав предисловие, – что я до сих пор ничего не слышал об этом писателе. И вы говорите, что этот трактат интересен?

– Да вот послушайте, – ответил профессор, взяв у меня книжку. – Садитесь на диване и курите, а я вам буду читать прямо по-русски.

«Бывает иногда так, что граждане города, погруженные в занятия, сопряженные с выгодой, или вследствие упадка добродетели и при преодолевающей силе страстей, роскоши и увеселений, перестают воспитывать детей своих и дети начинают презирать своих отцов. Тогда в доме раб-педагог подвергается насмешкам, тогда отец встречает в сыне сначала пылкое неповиновение, потом насмешливое противодействие; тогда почтенные софисты (профессора) теряют всякое влияние на юношей, а софисты безнравственные начинают грубою лестью привлекать к себе тех, кои не руководятся еще разумом и не обладают опытом жизни. Тогда на площадях городов не слушают больше старцев. Когда те начинают убеждать, их перебивают. Когда те начинают спрашивать, их толкают и осыпают насмешками и оскорблениями. Тогда начинаются стычки с биченосцами (μαστιγοφόρος) и градоправитель (ἀστυνόμος) должен вмешиваться в жизнь тех, кои своим поведением благозаконностью должны бы были возбуждать во всем народе к себе уважение, а в людях неученых и благородное соревнование.

«Пойдем под портик музея, где они собираются, эти юноши, считающие себя гражданами, что говорю я, первыми из граждан. Они избирают себе старшин (πρόσβεις). Вот говорит один: «Я сторонник новшеств (νεωτεροποίος). Нам скучно жить под теми законами, под которыми живут наши отцы. Точно мы глупее их? Еще Гомер говорил: «мы хвалимся тем, что лучше своих отцов». Чем моложе юноша, тем длиннее у него будущее, тем он богаче будущим. Чем позднее он родился, тем лучше он, ибо самое время делается лучше, чем было прежде. Рожденный сегодня будет лучше, чем рожденный вчера. Разве вы все не сознаете этого и надо ли приводить вам доказательства этого, когда вы все так умны и учены, что софисты и историки и философы обращаются к вам за сочувствием и поклоняются вашей юности? Если бы старая наука была хороша, она никогда не смогла бы измениться. А ежели она изменилась, то значит она хуже новой. А если новая лучше старой, то новейшая лучше новой, с этим согласился бы сам Платон, хотя и Платон говорил, по-моему, больше глупого, чем мудрого». И юноши рукоплескали такому старшине.

«Другой встает на трибуну (βήμα) и говорит, что он пифагореец и, что его правило: все общее между друзьями (κοινά τῶν φίλων). Он требует, чтобы между всеми людьми было совершенное равенство, тожество чувств, чтобы они приучились наконец считать синонимами «мое и твое». Он советует искоренять из сознания дух обособленности. Ибо личное владение чем бы то ни было есть источник несогласий и смут. Он требует, чтобы все было общее между всеми. И он предлагает внести в общую казну свое имущество: два обола, старый воинский плащ и книгу историка Николая Блакистата «Законы исторических перемен», с тем, чтобы он мог получать всю свою жизнь обеды, ужин и вино от общины.

«На это возражает молодой эвпатрид (помещик), что надо скорее уравнивать влечения (аппетиты), чем имущества, а этого нельзя достичь иначе, как при помощи людей достаточно воспитанных в законах равенства, о чем свидетельствует Аристотель. Меньше всего заботливости возбуждает в людях то, что обще многим, ибо люди больше всего заботятся о своем собственном, и хуже всего об общественном или в той мере, сколько общественного приходится на долю каждого. Ибо любовь к собственности столь сродна человеку, что она неотделима от любви к самому себе. Ведь живую радость возбуждает в нас сознание, что предмет этот принадлежит нам исключительно, и необходимо, чтобы чувство это нашло себе удовлетворение...

«Молодой эвпатрид не кончил, ибо один юноша из плебеев (δημοτικός νεανίας) бросил ему в лицо чернильницу с громким воплем: «Ну и получи ее в собственность, о, сын собаки», после чего благородный эвпатрид должен был долго омыwać лицо свое.

«Встал иудей и закричал громким голосом и лицо его было искажено страстью? «Вы сами говорите, что первые да будут последними и последние первыми, и что нет ни эллина, ни иудея. Мы теперь последние, но очень хотим быть первыми. Итак выберите нас старшинами. Мы научим вас как говорить, думать и поступать по-иудейски (ἰουδαίσειν), если вы не умеете всего этого делать по своему. И все рукоплескали иудею, ибо не знали ни своего божеского, ни своего человеческого, ни своей страны, благословленной богами, ни славных деяний, трудов, битв, мужества своих предков, будучи сильными только благодаря своему невежеству и презрению к отцам своим.

«Встал юноша, несчастный в любви (δύσερως), и сказал: «Я требую, чтобы среди нас были ученые девушки, которые помогали бы нам учиться. Учиться так трудно.

Кто может точно записывать слова учителя, когда накануне долго сидел у торговца вином, играл в кости и веселился с флейтистками и танцовщицами? Пусть у каждого юноши будет помощница, которая обязательно записывала бы слова софиста (профессора), носила бы наши книги, чернила и бумагу, читала бы, что надо и подсказывала бы сзади, когда софист спрашивает у нас объяснений из тех речей, которые он нам говорил. Девушкам хороших семей запрещено посещать общественные сборища в винных погребках и забавляться с мимами, комедиантами и танцовщицами. Поэтому утром у них нет головной боли и они легче понимают рассуждения софиста. Я хочу, чтобы в академию ходили честные девушки, которые помогали бы нам учиться. Учиться так трудно». И все, чувствуя, что учиться трудно, когда накануне пировал, постановили, чтобы девушки хороших семей учились вместо их в академии, так как и для них одних не было достаточно места под портиком.

«Встал скиф с длинными неубранными кудрями, в грязной хламиде и с нечесаной бородой. Он махал руками, когда говорил, и речь его была составлена без всяких правил риторики.

«Он сказал: «Почему сюда в академию не пускают ремесленников и земледельцев? Вы скажете, что они невежественны? Но и я невежествен. Вы скажете, что они не учились читать и писать, а потому не могут слушать философии, политики и законов? Я тоже забыл и читать и писать и, клянусь Зевсом, не прочел ни одного стиха из Гомера. Если мы наконец признали, что заниматься науками недостойно гражданина, что гражданин должен заниматься общественными делами и чем он моложе, тем более важные общественные должности должны быть ему поручаемы, то я требую мне ответить, почему сюда не пускают ремесленников и земледельцев? Пусть они тоже гуляют под этими портиками и ругают мерзавцев софистов». И все ему рукоплескали.

«Так говорили они, каждый на свой лад, не желая понимать друг друга, а в отдалении стояли софисты, боящиеся приблизиться. Смотря на них, приходили на память слова Платона: «Каждый город сделался уже не городом, а многими городами сразу». Но теперь надо объяснить, как образовался строй пэдократии и отчего юноши, большинство которых полно добрыми намерениями, повинуются не родителям и не лучшим из софистов, а демагогам, почему они забыв, что их время есть время учения, стремятся управлять городом?

«Пэдократия есть дочь лести, лести народной. Ибо бывают льстецы, льстящие отдельным царям, эфорам, стратегам, богачам, философам. А есть льстецы, льстящие всему народу или отдельным его классам, каковые льстецы называются дэмокопами или дэмоколаками. Народный льстец поступает так же, как и льстец частный: он хвалит того, от кого надеется получить выгоду, и ругает тех, кого не любит его патрон.

У молодежи этого города есть много льстецов, которые льстят ей не столько из корысти, сколько из честолюбия, ибо молодежь, не имея рассудительности и не обладая искусством критика, любит не то, что хорошо, а то что подделывается под ее вкусы. Так не уважать богов и героев приятно молодежи, потому что она думает, что она выше тех, кого она ругает. Ругая героя, думают стать выше его. Вот почему безбожники и софисты-скептики, отрицающие героическое начало в жизни, пользуются любовью молодежи. Молодежь, только-что надевшая длинные одежды, только-что вышедшая из-под розги дядьки-педагога, – желает свободы. И льстец молодежи, παιδοχόλαξ, должен превозносить свободу, понимая под ней и

разрушение жизни предков, и распушенность, и нарушение законов, освященных временем. Молодежь не хочет изучать историю. Она любит читать рассказы только о пороках бывших правителей города, только об их ошибках. Поэтому она любит перемены. Значит, чтобы снискать ее расположение, льстец молодежи должен требовать перемен, перемен во всем, в государстве, в законах, в вере, в распределении собственности. Обыкновенно «пэдоколак» или льстец молодежи говорит так: «Вы чувствуете сердцем все святое и лучшее. Покажите же, что вы презираете насилие и готовы бороться с ним». И молодежь приходит в восторг, не сознавая, что самое тяжелое насилие есть насилие над нами нашего прошлого, которое сидит в каждом из нас и не может быть изгнано, как по словам христиан можно изгонять беса, сидящего внутри человека. Главные «пэдоколаки» или льстецы молодежи набираются из класса ефэмерэзиев...

– Что это за «ефэмерэзии», – перебил я Павла Михайловича. – Я никогда не слышал такого слова.

– Да и я в первый раз встречаю его. Это повидимому единственный пример, ἀπαξ λεγόμενον... Повидимому это значит «вестовщик ежедневных известий». Вот дальше, из контекста делается ясно... «Каждое утро ефэмерэзий собирает известия обо всем, что делается в городе, и узнает от приезжих или из писем друзей своих о происходящем в других городах. В его доме сидят десятки рабов, которым он диктует эти известия и посылает раба продавать их по оболу за лист. Молодежь с жадностью бросается на эти листы, ибо у нее нет никаких обязательных трудов и забот, и предаётся чтению листка ефэмерэзия, в который тот и влагает грубую лезть молодежи и грубые ругательства против истинных друзей ее и честных философов. Так как молодежь видит всегда только одну сторону предмета, ибо способность видеть предмет в его целом вырабатывается только изучением и размышлением, то «пэдоколаки», показывая молодежи во всем одни дурные стороны, возбуждают в ней ненависть к людям и установлениям, которые выше и добродетельнее самих льстецов»...

На этом месте звонок прервал чтение профессора. К нему пришли студенты по делу. Но я взял с Павла Михайловича слово, что он даст мне для перевода этот трактат о греческой пэдократии времен упадка, ибо ничто так не поучительно для общества, как знакомство с общественными явлениями народов древности. Как только эта редчайшая книжка будет мне доставлена, я издам ее в русском переводе, чтобы познакомить русских читателей с мнениями независимо мыслившего софиста Сергия Бирсодепсида.